

▼ Память хранит

Евгения ЕВАНГУЛОВА.

Крестный путь

(Продолжение. Начало в №6 от 16.02.2017 г.)

Письмо матери, Елизавете Ефимовне, написано торопливым, но твёрдым почерком на серой бумаге почтового бланка.

«24 мая 1937 года, вокзал.

Милая мамочка!

Ты, быть может, очень удивишься, если я тебе скажу, что чувствую себя почти превосходно. Между тем, я сижу на вокзале и жду поезда, который отвезёт меня в Оренбургскую тюрьму (не бойся этого грозного слова). Во-первых, у меня сразу спала ответственность за огромное предприятие. Во-вторых, ко мне очень любезно все отнеслись, то есть, кто обыскивал и кто арестовывал; в-третьих, тебе, моё солнышко, не надо говорить, что я чист, как новорождённый младенец.

Единственно, тревога за дело. Оно остаётся прямо на простакон и дураков. Во-вторых, тревога за тебя, единственную. Ниночка и Женечка бодро перенесут, я уверен. Они здоровенькие, а ты, моя старушечка, и дорой започка, старичок, — за тебя, особенно, и за него боюсь! Передай Серёженьке, Марусе, всем привет и абсолютно обо мне не беспокойся, говорю тебе совершенно серьёзно! Всё это ерунда! Не жду особенно раннего освобождения — ведь надо разобраться во всякой подлости, которую на меня могут нагородить, — но всё, в конце концов, будет в порядке.

Помни, что самое скверное — это твоё здоровье, если ты перепугаешься и срейфишь! Помни тогда обо мне — для меня ты нужна бесконечно! Мысль тебя увидеть и обнять — первая, которая меня в любых условиях поддержит. Вторая мысль, что снова я буду работать для нашей родины, хоть она сейчас для меня сделалась вроде мачехи — но это на время.

Целую тебя бесконечное число раз...

Твой навеки сынишка Павлуша.»

Всё тот же уцелевший инженер В.П. Наумченко, который в последний вечер папиной свободы был у него и задержался до ночи, впоследствии вспоминал, что был поражен хладнокровием отца при вторжении сотрудников НКВД. Отец заставил Наумченко, пока происходил обыск, сесть с ним играть в шахматы...

У нас дома в Москве обыск был произведён в ту же ночь. Накануне мне приснился навсегда запомнившийся сон: будто из соседней, погружённой во мрак комнаты вышел папа и, наставив мне в сердце пистолет, выстрелил. Физической боли не было, но, не успев крикнуть: «Не трясись!..», я увидела, что грудь моя залита кровью...

Всё мне видится очень отчётливо: синие фуражки на нашей скатерти в столовой, пренебрежительно-грубое, прямо на пол, вышвыривание книг из шкафов с ценнейшими собраниями. Всё это перекапывалось в поисках неизвестно чего. Если бы энкаведисты имели представление о стоимости попираемых ими книг, они бы их, вероятно, нам не оставили. Между тем, на деньги от их продажи я смогла, живя у дяди Миши, закончить три курса института.

Не приглянулась этим скифам также великолепная, хоть и скромная, коллекция статуэток копенгагенского фарфора (папина слабость). Зато чекисты не велели нам трогать столовое серебро, посуду и мебель. Рояль фирмы «Беккер» опечатали в первую очередь. Ничего не найдя нездоровенного, они опечатали три комнаты из четырёх и удалились.

Итак, всё было кончено... После сдачи экзаменов за 10 класс (некоторые из преподавателей, помню, отнеслись с сочувствием к девочке с зарёванными глазами) мама отправила меня в Ленинград к брату дедушки профессору Михаилу Георгиевичу Евангулову, очень любившему моего отца. Поражало мужество этого замечательного человека, решившегося на помощь своим «запятнанным» родственникам. Ведь вся страна репрессированного, вплоть до дальних родственников, а то и просто знакомых, пребывала под угрозой ареста.

Мама вскоре уехала в Оренбург, чтобы получить какие-нибудь сведения об отце, а если возможно, то и свидания с ним. То же сделала и Н.А. Маковская, но она смогла добиться только получения записки от своего мужа: «Забудь обо мне и устраивай свою жизнь». Положение Георгия Константиновича усугублялось неоднократными командировками за границу, в частности, в Норвегию по договору с фирмой «Оркла», и знанием восьми иностранных языков.

Маме дали свидание с папой. Он был спокоен, побрит, в чистых ботинках; сказал, что с ним пока обращаются вежливо, и просил переслать ему тёплое бельё. Мама успела это сделать.

Несмотря на запрет, мама иносказательно дала понять папе о наших делах на воле.

Когда отца увели, следователь неожиданно предъявил маме ордер на арест. Дверь на свободу захлопнулась и за мамой.

Кошмарные дни в Оренбурге и дальнейшая мамина лагерная жизнь — в её воспоминаниях, написанных в 1972 году.

С конца августа 1937 года я перестала получать от мамы ответы на мои письма, а в сентябре из Оренбурга пришла открытка, написанная безграмотными каракулями, от хозяйки комнаты, которую снимали приехавшие хлопотать за мужей мамы с Ниной Маковской. В открытке говорилось, что «3 сентября твою маму забрали военные из вынужденности...»

Так я осталась одна. Жила я у дяди Миши.

К счастью, молодость трудно лишить свойственных ей радужных надежд. Поэтому я продолжала не только учиться, но и посещать филармонию, стараясь не пропускать симфоний Чайковского, так любимых папой. И вспоминать без конца, как в начале 1936 года, сидя перед приёмником, мы с папой до поздней ночи слушали вдвоём его любимую 5-ю симфонию, а за окнами спала потонувшая в глубоких снегах Блява.

Почти еженедельно, как и многие другие в моём положении, я писала заявления и исполненные страдания письма на имя Сталина. И ждала чуда — возвращения родителей. Но письма или вовсе оставались без ответа, или приходила короткая справка, отпечатанная на стандартном бланке: «...дело рассматривается в органах НКВД».

Каждые каникулы я ездила в Москву, и всякий раз одна и та же картина открывалась моим заплаканным глазам: нескончаемые очереди в тёмных подворотнях у Лубянки, у Матросской тишины, на Мясницкой улице (с 30-х годов ставшей улицей Кирова) и во множестве других мест. В Фуркассовском переулке к тому времени возвели два колоссальных «дома НКВД». Они стояли друг против друга, их окна были забраны толстыми железными решётками, а вдоль них по тротуару круглосуточно вышагивали «сотрудники», следившие, чтобы прохожие не останавливались и не разглядывали зарешеченных окон.

У людей в очередях были одни и те же неотступные вопросы: где наши родные? В чём они виноваты? Какова их судьба?

И если неосведомлённому человеку случалось спросить: «За чем очередь?», ему отвечали: «За мужьями и отцами...»

И вот в один из своих приездов в Москву, после 8-часового бдения в очереди, через малосенькое окошечко, в которое не смог бы пролезть мужской кулак, я получила краткое, как удар хлыста, сообщение: «Отец — 10 лет лагерей без права переписки; мать — 8 лет лагерей без права переписки».

После первого вздоха облегчения, что они хотя бы живы, навалились страшные, тоскливые мысли: почему всем отвечают одно и то же — не лгут ли? За что такое наказание? Переживут ли они его? ...

Наконец, летом 1939 года я в Ленинграде получила по почте очень странный конверт. На нём значился адрес дяди Миши, а сверху крупно выделялось: «Детский дом». Подпись в конце письма «Твоя мама» мгновенно вызвала у меня безудержные, почти истерические слёзы счастья. Только потом мы догадались, что письмо было составлено якобы для маленького ребёнка в детском доме. Эту догадку позже, при свидании, подтвердила мама, объяснив, что в то время разрешали писать только детям, отправленным в детские дома.

Обратный адрес выглядел так: станция Потьма, Темниковские трудовые лагеря, л/я такой-то (номера не помню).

Как только я сдала экзамены летней сессии, так немедля бросилась в Москву, а оттуда разыскивать станцию Потьма, чтобы попытаться (о, святая наивность!) увидеться с мамой.

Отправившись из Москвы 16 июля, я через несколько часов среди ночи вылезла из поезда на полустанке, погружённом в непроходимый мрак. Паровоз свистнул и тяжело тронул с места, потянув за собой грохочущие вагоны.

Сердце невольно сжалось в тревоге при виде крохотного, почти неосвещённого дощатого строения, игравшего роль станции. Единственная маломощная электрическая лампочка горела внутри, две тёмные фигуры притулились друг к другу на скамейке.

Не обнаружив никого из станционного персонала, чтобы навести необходимые мне справки, я пристроилась на другой скамейке, и тут одна из фигур зашевелилась. Я

разглядела по-бедняцки одетого деда с тощей бородежкой. Он спросил:

— Зачем такая молоденькая девочка попала в это запропащшее место?

Моё откровенное разъяснение цели прибытия — во что бы то ни стало повидать маму, заключённую в здешние лагеря, вызвало удивление, страх и любопытство, особенно у попутчицы деда, которая не знала, верить ли циркулировавшим здесь слухам, будто половина населения Москвы оказалась «вредителями» и «врагами народа». Иначе почему здешние лагеря полны? Да ещё, поговаривают, таких лагерей всюду хватает.

В результате старички исполнились ко мне горячим сочувствием. Они в два голоса стали уговаривать меня поскорее ехать назад в Москву на первом же поезде, потому что «в лагерь всё равно никого не пускают, да до него и не дойти — кругом часовые с ружьями...»

Видя, что меня не переубедить, они вышли со мной за дверь и показали мерцавший безнадёжно далеко в ночи огонёк. Это туда мне надо было идти. Дорога туда вела единственная и очень грязная.

Не дожидаясь рассвета, почти на ощупь, я двинулась по неведомому пути. Примерно через 15 минут ходьбы огонёк неожиданно оказался прямо передо мной, тут же возникли и очертания будки часового. Грозный окрик: «Стой! Стрелять буду!» заставил меня врат в землю. Щёлкнула задвижка, в будке зажгётся свет и растворится окошечко, в котором появлялась знакомая фуражка, венчавшая устрашающе зверскую физиономию. С трудом обретая дар речи, я заикающимся голосом пояснила, зачем я здесь. В первый момент охранник будто остолбенел и даже на его невыразительном лице читались ужас и изумление. А затем на меня извергся зычный мат и приказ убираться вон, пока он не начал стрелять.

Уходя от страшных ворот, я долго ощущала спиной взгляд следивших за мной глаз и нацеленное дуло винтовки. Всё!

Дед и бабушка, у которых я останавливалась в Москве, после всех пережитых потрясений чувствовали себя, конечно, плохо. Но дед бодрился, продолжая по необходимости работать в свои 73 года.

У меня хранится черновик письма бабушки, с которой она решила обратиться к «вождю народов», исходя тревогой за судьбу своего сына, моего отца. Письмо полито жгучими материнскими слезами и заставило бы содрогнуться кого угодно, только не адресата. Полный его текст опубликован в работе В. Альтава «Это было на Бляве». Приведу лишь заключительную фразу письма:

«Умоляю ради всего, что Вам дорого, ради покойного товарища Ленина, ради Вашей матери, помогите мне, дайте мне умереть с сознанием, что несправедливости нет в нашей стране, как было прежде, что это только страшная ошибка, и Вы вскоре выясните её свою властью... Остаюсь в надежде на Ваше правосудие и Ваше милосердие (Альтов В. Это было на Бляве // Диалог (Оренбург). 1990. №21-22. С.36.)».

Вскоре после безуспешной поездки в Темниковские лагеря я стала довольно регулярно получать вести от мамы. Они были нормального содержания, без имитации под детдом, кроме того, было разрешено посылать осуждённому посылки весом до 8 килограммов.

Наконец, «жёнам, отбывающим срок за мужей и имеющим детей», разрешили свидание с родными. К этому времени маму и других заключённых женщин вывезли в Карелию, в лагпункт возле станции Сегежа. Вот туда-то я и направилась летом 1940 года.

Из маминых воспоминаний:

«Как-то в один из дней, после наших многочисленных заявлений с просьбами о свидании с родными, вышло разрешение списаться с родными о свидании. И вот настал для нас необыкновенно счастливый день, когда я смогла увидеть свою дочь. Я надела одно из своих прежних платьев и постаралась приобрести свой нормальный вид, чтобы не пугать дочь и не увеличивать всю тяжесть этого свидания.

Она приехала в сопровождении очень красивого юноши (Волков Коля — мой московский друг детства), чем меня сразу подбодрила и подняла настроение, так как я увидела, что она не совсем одинока, что есть люди, которые не так равнодушно отнеслись к нашей трагедии.

Тут мы были одни и могли свободно обо всём говорить. Это было единственное свидание».

(Продолжение в следующем номере).